

тельно развитого общества, когда человек уже располагает достаточным досугом и может посвятить себя столь необязательному занятию.

Необходимо заметить, что взгляд на литературу как на «изящную» словесность, а на совершенные сочинения — как образцы для подражания был связан с выработкой нормы новоевропейских национальных литературных языков. С этой точки зрения нормативность и риторичность традиционной поэтики были оправданы, так как играли определенную положительную роль в языковых процессах того времени. Однако по мере развития национальных литературных языков и практики их нормирования потребность в поддержке со стороны поэтики становилась все слабее, а в то же время дальнейшие поиски сущности поэтического произведения требовали новой ориентации поэтики.

С совершенно иных позиций к проблеме поэтической речи подошли романтики. И мир, и сознание, и язык были для них не предметными, а динамическими, процессуальными сущностями. «Для мертвого и эмпирического взгляда мир состоит из бытия вещей, для философского — все находится в вечном становлении, непрерывном созидании», — утверждал А. В. Шлегель [14, с. 90]. Духовный мир в представлении романтиков также был полон динамики, поэтому Ф. Шлегель говорил, что «сознание есть история» [15, с. 11]. И язык они рассматривали как явление динамическое; как подчеркивал А. В. Шлегель, язык — «не вещь, а совместный способ действия большой массы людей» [14, с. 257]. При таком подходе к действительности идея создания точного и замкнутого, конечного описания мира оказывалась бессмысленной. Ведь если мир, сознание и язык постоянно изменяются, то любое равновесие между ними может быть только подвижным и относительным. Каждый новый момент бытия порождает новые явления и ситуации, реальность ускользает от окончательного определения и исчерпывающего описания. Познание представляет собой бесконечный процесс, «всякая истина относительна» [15, с. 9]. И язык участвует в познании не как набор статичных единиц, а как недискретное по своей сути явление, как процесс: «...Идея не может быть вмещена в одну фразу. Идея есть бесконечный ряд предложений», — писал Новалис [16, с. 359]. Язык был для романтиков не автоматической гарантией успешного общения, а всего лишь возможностью, воплощаемой в конкретном высказывании. В одних случаях человек говорит, «насилу добываясь от языка простой понятности», в других — выражает «полноту внутреннего духа и жизни» [15, с. 449]. Но ни одно конкретное высказывание не дает максимально полной возможности выражения, поэтому желание «сказать все» представляет собой «ошибочную тенденцию» [17, с. 151]. За пределами даже самого удачного высказывания остается нечто «невыразимое», и это „невыразимое“ есть не что иное, как признанная неспособность языка полностью охватить какое-либо внутреннее воззрение... Можно даже сказать, что язык, как собрание знаков понятий, никогда не может до конца исчерпать и одного-единственного индивидуального единичного представления о каком-либо внешнем предмете» [14, с. 77]. Это значит, что речевой поток не должен останавливаться, поскольку «все высшие истины... никогда не могут быть высказаны до конца» и «нет ничего более необходимого, как выражать их снова и снова, по возможности все более парадоксальным образом» [17, с. 366]. Как отмечал В. М. Жирмунский, это ощущение недостаточности языка, «борьба со словом» и стремление «вложить в него содержание, большее, чем обычное», представляют собой характерную особенность романтического мировоззрения [18, с. 33].

Новые представления о языке позволили ранним немецким романтикам по-новому поставить и вопрос о поэтической речи. Если раньше предполагалось, что для каждой ситуации может быть найдено единственно верное характеризующее ее высказывание, а все его возможные варианты различаются лишь формально, то романтики указали, что любое вы-